

An hourglass with red sand is shown against a dark background. The glass is covered in water droplets, and a stream of red sand is falling from the top bulb into the bottom bulb. The text "Bagvul" is at the top and "Не ты" is at the bottom.

Bagvul

Не ты

18+

Bagvul

He ты

«Автор»

2026

Bagvul

Не ты / Bagvul — «Автор», 2026

Нил просыпается в собственной квартире и видит на бельевой верёвке мёртвое тело, а под ножкой стула — записку: «Я тебя вижу, обернись». Дверь заперта изнутри, телефон мёртв, последние четыре месяца вспоминаются осколками: Новая работа, коллега, который говорил «Не парься», документы, подписанные не читая, белые таблетки «Для сна», друг, которому он перестал отвечать. У Нила есть одно утро, чтобы сложить, как он здесь оказался. Но память — единственный свидетель. А свидетели лгут.

Содержание

Глава 1. Проснувшись в тени	5
Глава 2. Дверь не заперта	8
Глава 3. Тебе нужнее	12
Глава 4. Куриный суп	16
Конец ознакомительного фрагмента.	20

Не ты

*Косточки из слив надо вынимать ложкой. Пальцами мнѐшь.
Ложкой чисто.*

Глава 1. Проснувшись в тени

Открыв глаза, я увидел перед собой мѐртвое тело.

Оно висело на петле, чуть покачиваясь — едва заметно, как покачивается бельѐ на верѐвке, когда ветер уже стих, а ткань ещё не решила, останавливаться ей или нет. Серые носки на ногах. Черные брюки. Одна ступня чуть развёрнута наружу, будто человек всю жизнь спал на левом боку. Я посмотрел на него. Он посмотрел на меня — ну, насколько это возможно для того, у кого шея вытянута под углом.

И тут я понял: Нужно что-то менять.

Так. Стоп. Назад. К началу. К тому месту, где ещё не было ни верѐвки, ни этого мѐртвого тела. Я не знал, какой день. Не знал, сколько спал. Не знал, с чего начинать. Но начинать было надо. Потому что само оно не начнѐтся. Не вспомнится. Не сложится.

Я сел на край кровати, опустил взгляд. На полу, придавленный ножкой стула, торчал край бумаги. Не конверт — просто лист, сложенный вдвое, сунутый в спешке, так что один уголок загнулся и потемнел. Бумага была тонкая, из тех, что идут на принтер по одному рублю за штуку, и кто-то — или что-то — оставил на ней бурые отпечатки. Пальцы. Или ладонь. Я не стал присматриваться.

Ножка стула неохотно отпустила край бумаги. Я потянул — аккуратно, двумя пальцами, как достают квитанцию из-под холодильника, если она туда завалилась. Лист вышел с лёгким шорохом, цепляясь за линолеум. Я развернул его. Края были острые, сухие, и я поцарапал подушечку указательного пальца. Мелочь. Капля. Но кровь из пореза попала прямо на бурое пятно, уже сидевшее на бумаге, — и я подумал, что это, наверное, символично. Но не стал развивать мысль. Хотелось понять, что там написано.

Надпись была одна. Четыре слова. Почерк нервный, с нажимом, буквы давили на бумагу так, что с обратной стороны проступали бугорки.

«Я тебя вижу, обернись»

Что значит — обернись? Я испугался и резко развернулся.

За спиной — зеркало. Старое, в дешѐвой пластиковой раме, с серебристой плѐнкой, пузырящейся по углам. Стояло на полу, прислонѐнное к стене, под наклоном, от которого всё в отражении выглядело чуть ниже и чуть шире, чем в жизни. Я посмотрел в него. Увидел себя. Сидящего на кровати. С окровавленным пальцем и листком в руке. Всё как должно быть. Ничего лишнего. Никого за спиной.

Я отвернулся от зеркала. Посмотрел на тело. Оно всё ещё висело. Покачивалось. Потом снова на листок.

«Я тебя вижу, обернись»

Ну хорошо. Пусть видит. Мне всё равно.

Я уже знал, что к чему. Знал — и не знал. Знал, что тело здесь. Знал, что бумага здесь. Не знал, как одно связано с другим. Не знал, сколько я спал. Не знал, чья кровь на листе — моя, его, третья. Не знал, почему сижу в домашнем бельѐ на кровати, а в метре от меня висит человек в черных брюках и серых носках.

Пора было вставать.

Линолеум — холодный, вздувшийся у плинтуса пузырями, липкий от чего-то, во что я не стал вглядываться. Сидя на краю кровати я посмотрел на мои голые колени. Бледные. Кожа в

мурашках — не от страха, от линолеума. Утро было раннее. Свет из окна падал низко, плоско, серо-жёлтый, как свет в поликлинике до того, как включают лампы.

На лицо висящего тела я не смотрел.

Вместо этого я посмотрел на листок. Перевернул его. Обратная сторона пустая. Бумага пахла пылью и чем-то железистым. Кровь, наверное. Старая. Уже не пахнет свежим. Значит, написано давно. Час назад. Два. Ночь.

Кто написал?

Я снова взглянул на тело. На его ноги, черные брюки. На то, как пальцы рук — я только сейчас заметил руки — чуть согнуты, будто он держал что-то перед собой. Или тянулся. Или пытался ухватиться за верёвку.

«Я тебя вижу, обернись»

Обернулся. Зеркало. Я. Кровать. Линолеум. Окно. Тело. Всё на месте. Никто не вошёл. Никто не вышел. Квартира была моя. Дверь — я глянул через плечо — заперта. Замок на месте. Цепочка на месте. Ключ торчал изнутри.

Значит, никто не входил. Значит, никто не выходил.

Значит, он был здесь всё время. Пока я спал. Пока я не спал. Пока я не знаю, что делал.

Я сглотнул. Горло было сухое, как та бумага. Как будто я не пил сутки. Может, и не пил. Я не помнил, когда последний раз пил воду. Или ел. Или выходил из комнаты. Из этой конкретной комнаты, в которой пахло чем-то сладковатым и пыльным, и в которой на бельевой верёвке, натянутой между двумя крюками, висел человек.

Бельевая верёвка. Я купил её в хозяйственном, на первом этаже. Триста рублей. Для полотенец.

Теперь на ней висело не полотенце.

Ладно. Ладно. Нужно было думать. Не паниковать — паниковать я не собирался, на это не было сил. Думать. Сухой, ровный, бухгалтерский список. Пункт первый: тело. Пункт второй: записка. Пункт третий: я. Пункт четвёртый: что я помню.

Я не помнил ничего.

То есть — не так. Я помнил вчерашний вечер. Или позавчерашний. Гриша писал. *«Ты живой?»*. Я не ответил. Не потому, что злой. Потому что потом. Потом всегда потом.

А до Гриши — что? Работа. Нет. Не работа. Отстранение. *«Отдохни, Нил. Мы позвоним»*. Не позвонили. Я ждал. Не дождался. А потом — туман. Густой, серый, как этот свет из окна. Дни в тумане. Или недели. Я не считал. Не было смысла считать, если не знаешь, какой сегодня день и имеет ли это значение.

Я посмотрел на тело ещё раз. На этот раз дольше. Заставил себя. Ступни. Колени. Бёдра. Живот. Грудь. Руки, чуть согнутые. Шея, уходящая в петлю. И выше — Лицо.

Я отвёл взгляд. Не потому что не мог смотреть. Потому что смотрел — и не узнавал. Не то чтобы не знал, кто это. Скорее — мозг отказывался складывать. Как пазл, в котором угловые элементы на месте, а середина пустая. Я видел лицо. Мозг говорил: *«Это не тот»*. И я верил мозгу. Потому что если не тот — тогда кто-то другой пришёл. Кто-то чужой. И тогда я — не при чём.

Ладно.

Я встал. Ноги держали плохо, колени подгибались, как после долгого сидения в неудобном кресле. Подошёл к окну. Не к телу — к окну. Стеклопанельная поверхность была холодная, с конденсатом по нижнему краю. За окном — двор. Серый. Ранний. Никого. Машины в ряд. Мусорный бак. Детская площадка с вывернутой наизнанку пластиковой качелью. Суббота. Или воскресенье. Или среда. Я не знал.

Свет полз по полу. Тень от рамы лежала на линолеуме, набухшая, с чёткими перепадами. Тело отбрасывало свою тень — длинную, узкую, уходящую к двери. Тень покачивалась вместе с телом. Едва заметно. Как бельё.

Я стоял у окна и думал: надо купить новый батон. На кухне, кажется, есть старый. Чёрствый. Я оторву кусок, буду жевать и смотреть. Или не смотреть. Или смотреть и жевать. Или не жевать и не смотреть. Какой смысл. Если меня следующим повесят на эту же верёвку — зачем батон. А если не повесят — всё равно зачем.

Но идти за батоном не стал. Вместо этого подошёл к кровати. Сел обратно. Взял листок. Перевернул. Разгладил.

«Я тебя вижу, обернись»

Почерк был нервный. Знакомый. Нет. Не знакомый. Не может быть знакомый. Я его не видел. Я его не писал. Кто-то другой. Кто-то был здесь. Кто-то сунул под ножку стула. Кто-то ушёл. Или не уходил. Или ушёл и вернётся.

Я положил листок на тумбочку. Взял телефон. Экран чёрный. Разряжен. Когда я его последний раз ставил на зарядку — не помню. Кабель валялся на полу, свернувшись, как дохлая змея. Я не стал втыкать. Не хотелось слышать, как он включится. Не хотелось видеть, сколько пропущенных. От кого. И что там Гриша писал. *«Ты живой?»*.

Я положил телефон экраном вниз. Свет из окна сдвинулся на сантиметр. Тень от рамы переползла. Было рано. Часов шесть, может, семь. Утро только начиналось.

И я сидел. И тело висело. И записка лежала.

И никто не шёл.

Глава 2. Дверь не заперта

Надо было вспомнить.

Не тело, висящее у меня в комнате. Не записку. Не руки. Не липкий линолеум и не серо-жёлтый свет. До. До всего. Когда ещё было нормально. Когда ещё не было ни верёвки, ни стула, ни бумажки под ножкой стула. Когда я ходил на работу и ел суп и думал, что завтра будет примерно как сегодня. И это было не страшно. Это было просто.

Я закрыл глаза. Не чтобы заснуть. Чтобы не видеть. Чтобы комната исчезла и осталось только то, что в голове.

Я вспомнил.

Сентябрь. Четыре месяца назад. Или чуть больше. Новый офис. Седьмой этаж. Лифт пах пластиком и чьим-то одеколоном, густым, сладковатым, из тех, что продают в переходе метро по триста рублей за флакон. Я вышел на седьмом. Ковролин серый. Стены белые. Дверей много, все одинаковые, с номерами. Я шёл и считал: двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Мой кабинет — шестнадцатый. На двери бумажка, на бумажке фамилия. Моя. Напечатана. Ещё тёплая от принтера, края чуть загнуты.

Я вошёл. Стол. Монитор. Кресло, скрипучее, с дерматином, который уже начал трескаться на подлокотниках. Окно. За окном — крыша соседнего здания и кусок неба, узкий, как щель между шкафами. Я сел. Кресло скрипнуло. Положил руки на стол. Стол был холодный, гладкий, пах ламинатом и чем-то химическим, новым.

И в этот момент дверь открылась.

Вошел мужчина. Он был прилично одет, улыбался.

Не постучал. Просто открыл. Зашёл. В руке — два стаканчика. Кофе. Из автомата на первом этаже, я потом узнал. По тридцать рублей. Пластиковые крышки, одна надета криво, кофе подтекал. Мужчина протянул мне тот, что ровнее. Сказал: «Ты Нил, да? Я Миша. Соседний кабинет. Слышу, кто-то скребётся. Решил, ты голодный. Кофе пьёшь?».

Я пил. Кофе был горячий, жидкий, пах жжёным сахаром. Я обжёг язык. Миша это увидел, засмеялся. Не громко. Так, коротко, носом. «Первый день, да? Ничего. Освоишься. Тут не кусаются. Ну, почти. Кроме бухгалтерии. Но к ним тебе не надо.»

Он сел на край моего стола. Не в кресло — на край. Ноги свесил. Ботинки коричневые, замшевые, с белой подошвой. Брюки обычные. Рубашка закатана до локтей. На запястье часы — простые, на кожаном ремешке, циферблат белый. Ничего особенного. Ничего лишнего. Просто человек. Который зашёл. С кофе. Потому что услышал, как кто-то скребётся на пути к соседнему кабинету.

«Тут столовая на втором, — сказал он. — Нормальная. Не ресторан, но есть можно. Суп нормальный. Котлеты так себе. Но если не придирааться — сойдёт. Пойдём, покажу. Или ты сам хочешь освоиться? Не навязываюсь.»

Я сказал: «Пойдём».

И мы пошли.

Столовая была на втором. Линолеум жёлтый, в клеточку, как в школе. Столы длинные, на четверых. Подносы пластиковые, красные, с бортиками. Витрина. За витриной — женщины в белых халатах, одна с сеточкой на волосах, другая без, но с кольцом на безымянном, толстым, золотым. Пахло варёной капустой и жареным маслом. Обычная столовая. Ничего особенного.

Миша взял суп. Борщ. Я взял суп. Не помню какой. Какой-то. Куриный, наверное. Или грибной. Жидкий, горячий, с макаронами, которые разварились. Миша взял котлету. Посмотрел на неё. Сказал: «Ну, котлета. Как всегда». Откусил. Пожевал. Кивнул. «Живём».

Мы сидели. Ели. Миша говорил. Не много. Не мало. В меру. Про офис. Про то, кто где сидит. Про то, что принтер на третьем этаже жуёт бумагу и надо подавать по одному листу,

иначе застрянет. Про то, что кофе в автомате на первом — вода, а не кофе, и что лучше ходить в кафе через дорогу, там тридцать рублей, но настоящий. Про то, что начальница отдела — Валентина Петровна — не кусается, но любит, чтобы отчёты были до полудня. «Не потому что сроки. Потому что она обедает в полдень и не любит, когда ей в обед звонят по работе».

Я слушал. Кивал. Ел суп. Суп был нормальный. Котлета у Миши — так себе. Но он ел. И говорил. И не смотрел на меня оценивающе. Не спрашивал, откуда я, почему ушёл с прошлой работы, какие у меня амбиции. Просто говорил. Про принтер. Про кофе. Про Валентину Петровну. Как будто мы уже давно знакомы. Как будто не первый день. Как будто я тут не новенький. А свой.

И в конце обеда, когда мы уже несли подносы к окошку, Миша сказал:

«Нил. Ты не парься. Первые недели всегда так. Втянешься. Я рядом. Если что — заходи. Кабинет напротив. Дверь обычно открыта. Ну, не то чтобы открыта. Но не заперта. Понимаешь разницу?»

Я понимал. И не понимал. Но кивнул.

Он улыбнулся. Не широко. Не натянуто. Просто — уголки рта чуть вверх. Морщинки у глаз. Зубы ровные. Ничего особенного. Просто человек. Который улыбнулся. И пошёл. Обратно на седьмой. В свой кабинет. Дверь напротив. Не заперта.

И я пошёл в свой. Шестнадцатый. Сел. Кресло скрипнуло. Положил руки на стол. И подумал: ладно, может, и правда. Может, тут нормально. Может, я зря боялся. Может, будет хорошо.

И было.

Первый месяц было хорошо. Я подписывал бумаги. Обычные. Накладные. Согласования. Заявки. Мелочь. Текущее. Миша заходил. Приносил кофе. Или не приносил, а просто заходил. Садился на край стола. Ноги свешивал. Говорил. Про работу. Про не работу. Про то, что жена купила новую сковородку и теперь всё жарит, даже то, что не надо жарить. Про то, что у него собака, дворняга, подобрал на даче, зовут Кнопка. Про то, что в выходные ездил на рынок за помидорами и купил три ведра. «Зачем три, не знаю. Жена сказала два. Я взял три. Теперь она не разговаривает со мной. Говорит, куда нам три ведра. А я говорю — засолим. Она говорит — ты не умеешь солить. Я говорю — научусь. Она говорит — ты не научишься. И вот, Нил, мы не разговариваем. Второй день. Из-за помидоров».

Я смеялся. Не громко. Но смеялся. И Миша видел, что я смеюсь. И это было нормально.

Мы ходили на обед. Каждый день. Иногда в столовую. Иногда в кафе через дорогу. Иногда просто выходили. Сентябрь был тёплый. Мы шли по тротуару, вдоль забора, мимо киоска с шаурмой, мимо аптеки, мимо остановки, где всегда стояла бабка с тележкой и продавала носки. Миша говорил. Я слушал. Иногда я говорил. Миша слушал. Ничего особенного. Два человека. Обед. Перерыв. Тридцать минут. Сорок. Иногда час, если Валентина Петровна не звонила.

Однажды Миша спросил: «А у тебя кто есть? Родители, я имею в виду. Семья».

Я сказал: «Мама. Бабушка. Бабушка далеко. Мама далеко. Никого тут нет».

Миша кивнул. Не стал жалеть. Не стал говорить «ну, ничего, ты не один». Просто кивнул. И сказал: «Бабушка — это хорошо. Бабушки — это святое. У меня бабушка умерла, когда мне двенадцать было. Я помню, она делала варенье из яблок. Не слив. Яблок. И давала мне пенку. Ложкой. Прямо с плиты. Горячую. Я обжигался. И всё равно ел. А она говорила: дуй, дуй, не торопись. А я не дул. Потому что горячая пенка — это же лучшее, что есть на свете. И она это знала. И всё равно говорила: дуй».

Мы шли. Миша говорил про бабушку. Про пенку. Про то, что дуй. Я слушал. Думал про свою. Про сливы. Про косточки. Про то, как бабушка вынимала их ложкой, одну за другой, и складывала в миску, и миска была белая, с синей каёмкой. И про то, как она говорила: «Нилка, иди сюда, будешь пенку снимать». И я шёл. И снимал. И было тепло. И пахло сахаром. И ничего плохого не было. Ещё не было.

Миша посмотрел на часы. Те самые, на кожаном ремешке, с белым циферблатом. Сказал: «Ладно. Мне пора. Там бумаги ещё. Пакет надо собрать до трёх. Завтра проверять. Ты иди, не жди».

Я кивнул. Пошёл обратно. Один. По тротуару. Мимо киоска. Мимо аптеки. Мимо бабки с носками. Сентябрь. Тепло. Тень от деревьев на асфальте. Листья ещё зелёные, но по краям уже жёлтые. Ничего особенного. Обычный день.

И я думал: вот. Свой человек. Не лезет. Не давит. Не спрашивает лишнего. Кормит кофе из автомата. Рассказывает про помидоры и Кнопку. Говорит: не парься. Говорит: я рядом. Говорит: заходи, дверь не заперта.

Свой.

И я не знал, что в кармане у него лежит пакет. Сорок страниц. Который мне завтра нужно будет подписать. Не читая. Потому что Миша проверил. Потому что Миша сказал: «Ты мне доверяешь? Не парься. Стандартный шаблон».

И я скажу: доверяю. И подпишу. И не прочитаю. И буду думать про бабушку и сливы. И про то, что Миша свой. И про то, что дверь не заперта.

Но это было потом. А тогда — сентябрь. Обед. Суп. Котлета так себе. И Миша на краю стола, ноги свешены, ботинки коричневые, замшевые. И кофе по тридцать рублей. И принтер жуёт бумагу. И Валентина Петровна обедает в полдень. И всё нормально. Всё штатно. Всё как у всех.

Верёвка скрипнула.

Я открыл глаза. Комната. Свет. Линолеум. Тело. Одна строка. Не больше. Я не стал смотреть. Не стал разглядывать. Просто — скрипнула. И всё. Как дверная петля. Как пол под ногами. Как звук, который есть и который не уходит. Фоновый. Фоновый шум. Гул холодильника. Скрип верёвки. Покачивание. Тень.

Я сидел. Руки на коленях. Палец кровил. Капля уже засохла, стянула кожу. Я посмотрел на листок. На тумбочке. Четыре слова. Бурое пятно.

«Я тебя вижу, обернись»

Миша.

Где ты, Миша. Почему ты не звонишь. Почему ты не пишешь. Почему ты не заходишь. Дверь не заперта, ты же сам говорил. Дверь не заперта. Заходи. Сядь на край стола. Ноги свесь. Скажи: не парься. Скажи: я рядом. Скажи что угодно. Скажи, что это не ты. Что это не твои бумаги. Что это не твоя подпись. Что это не ты стоял и улыбался, а в кармане — сорок страниц. Скажи, что я ошибаюсь. Что мне показалось. Что я устал. Что мне надо отдохнуть.

Позвоните.

Никто не позвонил. Ни Миша. Ни Валентина Петровна. Ни кто-либо. Телефон лежал на тумбочке. Мёртвый. Чёрный. Разряженный. И я не ставил его на зарядку. Не потому что забыл. Потому что боялся. Что включится. И там будет пропущенный. От Миши. Один. И голосовое. Три секунды. «Нил, извини. Так вышло». И я не смогу это слушать. Потому что «так вышло» — это не извинение. Это констатация. Как справка. Как диагноз. Так вышло. Не я. Так вышло.

Или не будет пропущенного. И это хуже. Потому что тогда Миша не извиняется. Не объясняет. Не звонит. Просто исчез. Как будто не было. Как будто не сидел на краю стола. Как будто не говорил про помидоры и Кнопку. Как будто не спрашивал про бабушку. Как будто сентябрь не был тёплым. Как будто суп не был нормальным. Как будто я не смеялся.

Я закрыл глаза. Снова. Не чтобы спать. Чтобы не видеть. Чтобы вернуться. Ещё на день. Ещё на неделю. Туда, где Миша живой. Где Миша рядом. Где Миша говорит: не парься. Где ещё не было ни Миши, ни Гриши, ни аудита, ни отстранения, ни тумана, ни верёвки. Где ещё можно было думать: всё нормально. Всё штатно. Завтра будет как сегодня.

Но завтра не было как сегодня. Завтра было хуже. И послезавтра хуже. И через неделю хуже. И через месяц — дно.

А пока — сентябрь. Обед. Котлета так себе. И Миша на краю стола. И кофе по тридцать рублей. И дверь не заперта.

И я сидел. И верёвка скрипела. И свет полз. И никто не шёл.

Глава 3. Тебе нужнее

Свет сдвинулся. Не на метр. На ладонь. Тень от рамы переползла через вздутие линолеума и теперь лежала на ножке стула, того самого, из-под которого я достал бумагу. Тело всё ещё висело. Покачивалось. Верёвка скрипела — не каждый раз, когда тело качалось, а через раз. Как будто скрип зависел от чего-то. От угла. От веса. От того, в какую сторону развернута ступня.

Я не считал скрипы. Но замечал. Мозг сам считал. Мозг вообще много чего делал сам, пока я сидел. Считал. Сопоставлял. Раскладывал по полочкам то, что раскладывать не хотелось.

Я посмотрел на записку. На тумбочке. Четыре слова. Бурое пятно. Моя капля поверх чужой. Или не чужой.

«Я тебя вижу, обернись»

Кто видит? Я перечитал. Не как в первый раз — не как угрозу. Как вопрос. Кто ты, который видит? Где ты стоишь? Откуда смотришь? Из-за зеркала? Из-за двери? Изнутри моей головы, где сидит кто-то, кого я не знаю, и шепчет чужим голосом?

Я перевернул листок. Оборот пустой. Пахнет пылью. Железом. Старым.

Ладно. Кто бы ни писал — пусть видит. Пусть смотрит. Я никуда не денусь. Я тут. Сижу. В домашнем белье. С окровавленным пальцем. В метре от человека в чёрных брюках.

Нужно было вспоминать дальше. Сентябрь кончился. Сентябрь был тёплый. Сентябрь был — Миша на краю стола, кофе по тридцать рублей, котлета так себе. Сентябрь был нормальный. А потом начался октябрь. И нормальность стала — как это сказать — тоньше. Не исчезла. Тоньше. Как ткань, которую стирают слишком часто. Вроде целая. Но свет проходит. И видно, что под ней.

Я закрыл глаза.

Октябрь. Вторая неделя. Или третья. Я уже не считал дни. Считал бумаги. Накладные. Согласования. Заявки. Пачки. Пачки росли. Раньше — пять-шесть листов в день. Подписать, проверить, подшить. Десять минут. Пятнадцать. Кофе выпил, подписал, пошёл на обед. А в октябре стало — двадцать. Тридцать. Сорок листов за раз. Миша приносил. В папке. Синяя, пластиковая, с застёжкой, которая вечно цеплялась за край стола и не закрывалась до конца. Щёлкала. Миша клал папку мне на стол. На край. Прямо поверх моих бумаг. Говорил: «Нил, тут стандартное. Подпиши, я проверил. Завтра отправляем».

Я подписывал. Не читал. Не потому что лень. Потому что Миша проверил. Потому что Миша сказал. Потому что тридцать листов — это сорок минут чтения, а у меня ещё свои, и Валентина Петровна ждёт до полудня, и обед через двадцать минут, и котлета, если не успеть, будет холодная, а холодная котлета — это уже не котлета, это подошва с запахом лука.

Я подписывал. Ставил дату. Ставил подпись. Передавал папку обратно. Миша забирал. Улыбался. «Красавчик. Спас.» И шёл. В свой кабинет. Дверь напротив. Не заперта.

Один раз — это было в конце октября, я запомнил, потому что за окном уже было темно в четыре часа и моросило, — один раз я открыл папку. Не всю. Первую страницу. Просто глянул. И увидел цифру. В графе «объём поставки». Цифра была не та. Не то чтобы не та — я не помнил, какая должна быть. Но я помнил, что на прошлой неделе в аналогичной накладной стояло другое. Меньше. Значительно меньше. А тут — в три раза больше. И сумма. Сумма была круглая. Слишком круглая. Не бывает круглых сумм в логистике. Бывает — сто двенадцать тысяч четыреста тридцать два рубля восемнадцать копеек. А не — триста тысяч ровно. Ноль копеек. Ноль.

Я сидел. Смотрел на цифру. За окном моросило. В кабинете пахло тонером и чьей-то курткой, мокрой, шерстяной, оставленной на спинке стула. Я смотрел на триста тысяч ровно. Ноль копеек.

И закрыл папку.

Не потому что поверил. Не потому что не поверил. Потому что — а что дальше? Пойти к Мише. Сказать: «Миша, тут цифра странная.» А Миша скажет: «Погрешность. Логистическая. Не парься.» И я скажу: «А, ну ладно.» И буду париться. Или не буду. Или буду париться, но молча. И это хуже. Лучше не открывать. Лучше не знать. Лучше подпись и обед. Лучше котлета, даже холодная. Лучше не думать про триста тысяч ровно.

Но я запомнил. Не хотел — запомнил. Мозг сам. Как скрип верёвки. Считает.

На следующий день Миша принёс кофе. Не из автомата. Из кафе через дорогу. Настоящий. Картонный стаканчик, крышка плотная, не подтекает. Поставил мне на стол. Сказал: «Ты бледный, Нил. Совсем бледный. Не спишь?»

Я сказал: «Сплю».

Миша покачал головой. Сел на край стола. Ноги свесил. Ботинки другие — не те, замшевые. Эти были чёрные, кожаные, новые, ещё блестящие. Я заметил. Не знаю почему. Заметил и всё. Он сказал: «На. Выпей».

И протянул таблетку. Маленькая. Белая. На ладони. Не в блистере — просто на ладони, как конфету дают. Как бабушка давала пенку — ложкой, прямо с плиты. Горячую. Дуй, дуй, не торопись.

«Что это?» — спросил я.

«Магний. Луиза дала. Из того отдела, за углом. Помнишь, мандаринами пахнет. Она сказала, тебе нужнее. Просила передать».

Я посмотрел на таблетку. На ладонь Миши. На его пальцы — чистые, ровные, без заусенцев. Таблетка лежала посередине. Круглая. С риской пополам. Как все таблетки. Ничего особенного.

«Луиза, — повторил я. — Из соседнего отдела».

«Ага. Говорит, ты бледный. Говорит, плохо выглядишь. Говорит, на, отдай Нилу, ему нужнее, я сама не пью, мне ни к чему.» Миша пожал плечами. Улыбнулся. «Заботливая тётка. Мандарины всем таскает. Ну, пей. Магний — это не лекарство. Это так. Для нервов. Для сна».

Я взял таблетку. Положил под язык. Горьковатая. Меловая. На языке осталась крошка, белая, как мел на школьной доске. Миша смотрел, как я глотаю. Не отворачивался. Не из вежливости — просто смотрел. Как смотрят, когда дают собаке таблетку от глистов и ждут, проглотит или выплюнет.

«Вот, — сказал он. — Молодец. Завтра ещё дам. Луиза сказала, курсом надо. Недельку хотя бы».

Я кивнул. Допил кофе. Кофе был настоящий. Не вода. Не жжёный сахар. Настоящий. Тридцать рублей. Из кафе через дорогу. Миша платил. Я не предлагал разделить. Он не предлагал. Просто приносил. Каждый день. Как должное. Как часть работы. Как часть того, что мы — свои.

А таблетка таяла под языком. И я думал.

Луиза. Из соседнего отдела. За углом. Мандарины. Я её видел. Два раза. Три. Не больше. В коридоре. У принтера. Она проходила мимо, кивала. Я кивал в ответ. Всё. Ни слова. Ни вопроса. Ни «как дела». Просто кивок. И запах мандариновой кожуры, если она шла из своего кабинета.

И вдруг — таблетка. И вдруг — тебе нужнее. И вдруг — передай Нилу.

Откуда она знает, что мне нужнее? Мы не разговаривали. Ни разу. Ни про работу, ни про жизнь. Ни про что. Она не знает, как я сплю. Не знает, бледный я или нет. Не знает, ем ли я,

пью ли, хожу ли на обед. Она сидит за углом. За стеной. В своём кабинете, где три женщины и один мужчина и где пахнет мандаринами. Откуда она видит?

И почему не Мише? Миша тоже бледный. Миша тоже не спит — он сам говорил, жена со сковородкой, Кнопка лает, три ведра помидоров. Миша тоже усталый. Но таблетка — мне. Именно мне. Не Мише. Не себе. Мне.

И почему через Мишу? Почему не подошла сама? В коридоре. У принтера. Сказала бы: «Нил, на, выпей. Ты плохо выглядишь.» Три секунды. Я бы взял. Я бы не отказался. Но нет. Через Мишу. Как посылку. Как пакет документов. Передай. Подпиши. Не читай. Я проверил.

Они разговаривали. Обо мне. Миша и Луиза. За стеной. За углом. В кабинете, где пахнет мандаринами. Миша сказал: «Нил какой-то бледный.» А Луиза сказала: «На, дай ему. Ему нужнее». И Миша взял. И принёс. И протянул. На ладони. Как конфету. Как пенку. Дуй, дуй, не торопись.

Они обсуждают меня. За моей спиной. В кабинете, куда я не хожу. В отделе, где я не сижу. Говорят про меня. Про то, как я выгляжу. Про то, бледный ли я. Про то, сплю ли. Про то, ем ли. И решают. Кому нужнее. Кому дать. Кому передать.

Я допил кофе. Поставил стаканчик на стол. Крышка была кривая, кофе подтекал, на картоне расплылось бурое пятно. Я смотрел на пятно. Думал.

Может, и нет. Может, я придумываю. Может, Луиза просто добрая. Может, мандарины — это не заговор, а мандарины. Может, таблетка — магний. Может, Миша не обсуждал меня с ней. Может, она сама подошла, сама сказала, сама дала. Без Миши. Без разговора. Без «ему нужнее». Может, Миша пересказал криво. Может, я криво услышал. Может.

Но таблетка была на его ладони. Не на её. На его. И он сказал «Луиза дала». Не «Луиза подошла и дала». Не «Луиза попросила передать, потому что ты рядом сидишь». А — «Луиза дала. Просила передать. Тебе нужнее».

Тебе нужнее. Три слова. Которые значат: мы знаем, что с тобой. Мы видим. Мы решили. Мы выбрали тебя. Не Мишу. Не себя. Тебя. Потому что ты бледный. Потому что ты не спишь. Потому что ты подписываешь не читая. Потому что ты удобный. Потому что ты свой.

Я глотнул. Таблетка ушла. Горло першило. На языке осталась горечь. Меловая. Сладковатая. Как та бумага под ножкой стула. Как кровь, которая засохла на подушечке пальца.

«Спасибо, — сказал я. — Передай Луизе. Спасибо».

«Передам, — сказал Миша. — Она рада будет. Она вообще добрая. Мандарины всем таскает. Не только тебе. Не подумай».

Не подумай. Он сказал «Не подумай». Значит, я мог подумать. Значит, есть что думать. Значит, он знает, что я могу подумать. И сказал заранее. Чтобы я не подумал. Чтобы не думал. Чтобы глотал и не думал. Как подписывал и не читал. Как верил и не спрашивал. Глотай. Не думай. Не парься. Я проверил. Я рядом. Дверь не заперта.

Миша встал. Забрал пустой стаканчик. Свой, полный, отпил. Посмотрел на часы. Те самые, на кожаном ремешке, с белым циферблатом. Сказал: «Ладно. Мне пора. Там бумаги ещё. Пакет собрать до трёх. Ты иди, не жди».

И пошёл. Обратно. В свой кабинет. Дверь напротив. Не заперта. А я сидел. И на языке горечь. И в голове — два слова. Тебе нужнее.

И я не знал, что хуже. Что они правы и мне правда нужнее. Или что они решили за меня, что нужнее, и даже не спросили.

Верёвка скрипнула.

Я открыл глаза. Комната. Свет. Тело. Тень на ножке стула. Записка на тумбочке. Палец засох, стянут, не кровит. Я сидел. Руки на коленях.

Луиза. Мандарины. Таблетка. Тебе нужнее.

Я смотрел на тело. На ступни. На серые носки. И думал: а если это не магний. А если это не витаминки. А если Луиза не просто добрая. А если мандарины — это не мандарины. А

если они все. Миша. Луиза. Валентина Петровна. Все. В одном кабинете. За одним столом. С мандаринами и таблетками. И я сижу посередине. И глотаю. И подписываю. И не читаю. И не спрашиваю. И ем котлету. И думаю: Всё нормально. Всё штатно. Завтра будет как сегодня.

А завтра — не будет.

Потому что завтра — ещё одна таблетка. И ещё одна папка. И ещё одна подпись. И Миша на краю стола, ноги свешены, ботинки новые, блестящие. И улыбка. И «Не парься». И «Я рядом». И «дверь не заперта».

И я глотаю. Каждый день. Утром. В обед. Миша протягивает — я глотаю. Не думая. Не спрашивая. Магний. Для сна. Луиза покупает, мне отдаёт. Тебе нужнее. Курсом. Недельку. А потом ещё. И ещё.

И спать стал — не лучше. Хуже. Сон плотный, чёрный, без снов. Провал. Вечером лёг — утром встал. И между ними ничего. Ни мысли. Ни образа. Ни бабушки, ни слив, ни пенки. Ничего. Чернота. Как телефон разряженный. Экран чёрный. И не включишь, пока не воткнёшь кабель.

А кабель я не втыкал. Ни телефонный. Ни свой.

Глава 4. Куриный суп

Стук.

Не громкий. Не кулаком. Костяшками. Два раза. Пауза. Ещё раз. Так стучат люди, которые не уверены, что им откроют, но обязаны попробовать.

Я не шелохнулся. Сидел. Руки на коленях. Палец — тот, порезанный — уже не кровил, просто стянут, белёсый по краю. Записка на тумбочке. Тело, что так же висит у меня в комнате.

Стук повторился. Три раза. Подряд. Увереннее.

— Нил? Нил, ты там?

Голос женский. Не молодой. С хрипотцой, с той характерной сипотцой, которая бывает у людей, курящих на балконе по утрам, зимой, в халате, тапках на босу ногу. Голос из-за двери, общего коридора.

Я знал этот голос. Не сразу. Не как имя. Как звук. Как гул трубы за стеной в шесть утра. Как шарканье тапок по линолеуму этажом выше. Как запах жареного лука, который заползает под дверь в семь вечера, хочешь ты или нет.

Людмила. Сорок третья квартира. Через стенку.

Я не двигался.

— Нил, я знаю, что ты дома. Свет в окне горел ночью. Я видела.

Свет горел ночью. Значит, она смотрела. Значит, она видела окно. Значит, она стояла у своего окна, в халате, с сигаретой, и смотрела на моё. И видела свет. А потом — не видела. Утром. Днём. Неделю, до ближайшей ночи.

Я не отвечал. Не потому что не хотел. Потому что не знал, что сказать. Что говорят человеку, когда у тебя в комнате висит тело? «Здравствуйте, Людмила, всё хорошо, просто тут небольшой беспорядок, не обращайтесь внимания»? «Минутку, я сейчас, только уберу»?

Тишина. Я слышал её дыхание за входной дверью. Тяжёлое. Носом. И ещё что-то — шуршание. Пакет. Целлофановый. Она держала пакет. Я слышал, как он мнётся под пальцами.

— Нил. Я неделю тебя не слышу. Ни шагов. Ни воды. Ни телевизора. Ничего. Я уж думала, ну, мало ли. Уехал. К маме. Или в командировку. А ночью вижу, свет-то горел. Позавчера и вчера не горел. И сегодня не горит. А ты —

Пауза. Шуршание пакета.

— Я суп сварила. Куриный. С лапшой. Думаю — занесу. Ты молодой, да ещё и один тут. Не ешь, наверное.

Суп. Куриный. С лапшой. Она сварила суп, принесла в пакете. В целлофановом. В кастрюльке, наверное, обёрнутой полотенцем, чтобы не остыл. Стоит за дверью, в халате и тапках. С супом. А за дверью — я. А за мной на бельевого верёвке висит человек.

Я встал.

Не быстро. Не рывком. Встал, как встают после долгого сидения в кресле у стоматолога — затёкшие ноги, колени, которые не сразу понимают, что от них хотят. Кровать скрипнула. Пружина. Одна. Та, что у изголовья, слева. Я её знал, она скрипела каждый раз, когда я садился. Каждый раз, когда ложился. Каждый раз, когда ворочался ночью.

Я пошёл к двери. Направо. От кровати — направо. Три шага. Четыре. Пол липкий. Линолеум вздувшийся. Тапок нет. Я босиком. Холодно. Пальцы ног цепляются за линолеум, за его шершавую, пузырчатую поверхность.

Когда я дошёл до входной двери, то увидел ручку. Холодную. Металлическую. Ручка дешёвая, круглая, с облупившимся хромированным покрытием, под которым она прорастает жёлтая, латунная. Я взялся за неё. Пальцы легли на металл.

И остановился.

За дверью — Людмила. С супом. С пакетом. С хриплым голосом и недельным беспокойством. А я — в домашнем белье. Босиком. С засохшей кровью на пальце. И за спиной у меня — комната. В которой пахнет. Не пылью. Не линолеумом. Другим. Сладковатым. Тем самым. Который я уже не замечал. Который стал фоном. Который — как гул холодильника. Есть и есть. А она — заметит. Она придёт, понюхает и заметит.

— Нил? Ты там? Открой. Я не зайду, я только кастрюльку поставлю.

Не зайдёт. Кастрюльку поставит. На порог. Уйдёт. Не надо открывать полностью. Щель. Узкую. Чтобы кастрюльку просунуть. Чтобы не видно было. Чтобы она не заглянула.

Но запах.

Я посмотрел вниз. На себя. Домашнее бельё. Серое. Растянутое. На футболке пятно — не то чай, не то что-то другое. Не помню, когда менял. Не помню, когда стирал. Пахну я, наверное, соответственно. Но это — ладно. Это — человек не мылся неделю. Бывает. Это не то. Не тот запах.

Но запах из комнаты. Она почувствует. Если открыть — почувствует.

— Нил, ты чего? Мне через дверь разговаривать? Я немолодая, мне стоять тяжело.

Я повернул замок. Щёлкнул. Цепочка. Я не снял цепочку. Оставил. Дверь открылась на ширину ладони. Я увидел жёлтый свет. Лампочка, стены в цветочек. Коврик у её двери, с надписью «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ», вытертый, с проплешиной посередине.

И она.

Людмила. Шестьдесят. Может, пятьдесят восемь. Халат — бордовый, в белый горох, с поясом, завязанным на два узла. Тапки — розовые, пластиковые, с дырочками для вентиляции. Волосы — седые, короткие, уложены, как укладывают женщины, которые каждое утро ходят в парикмахерскую при ЖЭКе. Триста рублей. Укладка каждый день. На лице — морщины, но не те, что от возраста. Те, что от прищура. От того, что всю жизнь смотришь внимательно. На соседей. На подъезд. На то, кто вошёл, кто вышел, кто в три ночи свет не гасит.

В руках — пакет. Целлофановый, с логотипом. В пакете — кастрюля. Маленькая. Литра на два. Крышка обёрнута полотенцем. Вафельным. В синюю клетку.

Она посмотрела на меня. В щель. На цепочку. На мой палец — засохший, белёсый. На босые ноги. На футболку с пятном.

— Господи, Нил. Ты на кого похож.

Не вопрос. Констатация. Как врач говорит: «Ну, голубчик». Не ждёт ответа. Просто отмечает. Фиксирует.

— Здрасьте, Людмила.

Голос мой. Хриплый. Сухой. Как бумага, которую комкают. Я не говорил неделю. Или больше. Связки не работали. Слова выходили плоские, без объёма.

— Здрасьте. — Она не улыбнулась. Смотрела. В щель. За моё плечо пыталась. Я видел. Глаза её — серые, мелкие, быстрые — метнулись вправо. Влево. Пытались зацепить. Увидеть. Комнату. Что за мной. Что там.

Я стоял так, чтобы закрыть. Плечом. Корпусом. Щель узкая, но она могла увидеть край окна. Кровать. Тумбочку. Но не то. Не левее. Не ближе к окну. Не верёвку. Не ноги. Не серые носки.

— Ты не ел сколько? — спросила она. Не «как дела». Не «что случилось». Конкретно. Практично. Ты не ел сколько.

— Не помню.

— Не помнит он. — Она покачала головой. Пакет зашуршал. Кастрюля звякнула. — На. Держи. Куриный. С лапшой. Я утром сварила. Горячий ещё. Поешь. Не благодари.

Она протянула пакет в щель. Пакет не проходил. Цепочка не давала. Щель была — ладонь. Пакет — шире.

— Снимите цепочку, Нил. Я не зайду. Поставлю и уйду.

— Не надо. Я возьму.

Я потянул пакет. Пальцами. Двумя. Как бумажку из-под стула. Пакет цеплялся за край двери. За цепочку. За металлическую скобу. Я тянул. Людмила держала. Пальцы у неё были крепкие. Короткие.

Пакет прошёл. Кастрюля ткнулась мне в живот. Тёплая. Тяжёлая. Дна не чувствовалось. Жидкость плескалась. Пахло курицей. Лапшой. Укропом. Нормальным. Живым. Едой.

И за этим запахом — тот. Сладковатый. Из комнаты. Из-за моей спины. Я стоял и держал кастрюлю, и два запаха мешались. Курица и укроп. И — то. Густое. Приторное. Как переспелые фрукты, оставленные на подоконнике в августе. Как мусорное ведро, которое забыли вынести на три дня.

Людмила унюхала. Едва. Носом. Коротко. Не демонстративно. Просто — воздух втянула. И замерла. На полсекунды. На секунду.

— Нил. А что у тебя там? Пахнет как-то.

— Мусор. Не вынес. Забыл.

Она посмотрела на меня. В щель. В глаза. Долго. Три секунды. Четыре. Я не моргал. Не отводил взгляд. Смотрел. Усталый человек. Который не вынес мусор. Который не ел неделю. Который в домашнем белье и босиком. Которому не до мусора. Которому ни до чего.

— Мусор, — повторила она. Не поверила. Но не стала давить. Кивнула. — Вынеси. Завтра. Не надо копить. Воняет. Соседи жалуются.

Никто не жаловался. Она не звонила в управляющую компанию. Не писала заявление. Не ходила по квартирам. Она просто сказала: соседи жалуются. Потому что так легче. Не «Я чувствую». А «Соседи». Безлично. Не ко мне. К кому-то. К тем, кто за стеной. К тем, кто не я.

— Вынесу. Завтра.

— Завтра. — Она повторила. Как эхо. Как проверку. Завтра — значит, ты будешь. Завтра — значит, не сегодня. Завтра — значит, живой.

Она стояла. Не уходила. Переминалась с тапка на тапок. Пакет пустой болтался в руке. Целлофан шуршал.

— Нил. А ночью. Я слышала.

Я не ответил.

— Стук. Громкий. Как будто упало что-то. Тяжёлое. И голос. Не твой. Мужской. Коротко. И потом — тишина. Я в стенку постучала. Ты не ответил. Я подумала — ладно. Может, телевизор. Может, телефон. Но голос был не из телевизора. Голос был тут. Рядом. За стенкой.

Тишина. Коридор. Лампочка гудела. Тихо. На одной ноте. Как комар. Как трансформатор. Гудела и гудела.

— Может, телефон, — сказал я.

— Может. — Она не стала спорить. Но смотрела. Не в глаза. На цепочку. На щель. На то, что за щелью. На моё плечо, за которым — комната. — А ты один?

Вопрос. Простой. Бытовой. А ты один. Как спрашивают: а ты обедал. А ты шапку надел. А ты один. Не подозрение. Не допрос. Забота. Тяжёлая, неуклюжая, пахнущая куриным супом и сигаретным дымом. Забота чужого человека, который живёт за стенкой и слышит, как ты не ходишь. Не моешься. Не включаешь воду. Не открываешь кран. Не скрипишь кроватью. Не живёшь.

— Один, — сказал я.

Она кивнула. Медленно. Не убеждённо. Но кивнула. Приняла. Не потому что поверила. Потому что устала стоять. Потому что тапки пластиковые, а пол в коридоре бетонный, холодный. Потому что ей шестьдесят и у неё колени.

— Ладно. Поешь. И вынеси мусор. И позвони матери. Она, наверное, волнуется.

— Позвоню — сказал я.

— Позвонит он. — Она махнула рукой. Развернулась. Тапки шлёпнули по бетону. Халат качнулся. Бордовый. В белый горох. Она пошла. Три шага. Четыре. К своей двери. К коврику с надписью «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ». К замку. К цепочке.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.